

Поздней осенью 1836 года в устье Невы против Галерного острова бросил якорь грязный итальянский корабль. Он пришёл из Ливорно.

Падал первый снег. Он сваливался пластами с грубых парусов, но тонким серебром ложился на реи. В сумерки корабль, занесённый снегом и освещённый огнём фонарей, казался даже собственным матросам нарядным и лёгким.

Корабль привёз редкий груз — последние картины русских художников, живших в то время в Риме. Полотна Брюллова и Бруни, портреты Кипренского и гравюры Иордана были бережно завернуты и сложены в пустой каюте.

Прихода корабля долго ждали петербургские любители живописи. Первым на пристань приехал писатель Нестор Кукольник. Он стряхнул сырой снег с плаща и цилиндра и прошёл в каюту капитана.

Свеча дрожала на чёрном столе. Она освещала в пыльной стеклянной вазе несколько апельсинов.

Капитан ел апельсины. Пахучий сок стекал по его загорелым пальцам. Кукольник, усмехнувшись, сказал, что наконец он чувствует и здесь, в Петербурге, воздух Италии.

Капитан пробормотал что-то невнятное и, дожёвывая апельсин, выдвинул ящик стола. Там среди истрёпанных географических и игральных карт лежало письмо. Капитан протянул его Кукольнику. Кукольник вскрыл конверт и начал читать.

«В конце сентября, — читал Кукольник, — Орест Кипренский занемог жестокой горячкой, от которой усердием доктора начал было поправляться и стал выходить, как простудился снова, и горячка возвратилась. Художник не вставал более. Он скончался здесь, в Риме, третьего прошедшего октября».

Кукольник встал.

— Вы привезли тяжёлую весть, — сказал он несколько напыщенно капитану. — В Риме умер один из величайших художников нашего века, мой соотечественник Орест Кипренский.

Капитан не ответил. Он перебирал апельсины. Вверху, на палубе, перекликались матросы. Итальянский язык казался особенно звонким в густом снегу, засыпавшем пустынные проспекты и дворцы Петербурга.

Капитан выбрал самый большой апельсин и подбросил его на ладони.

— Вот — возьмите, — сказал он и улыбнулся. Блеск зубов преобразил его угрюмое лицо. — В Италии никогда не перестанут созревать апельсины и художники.

Кукольник попрощался и вышел. Он спрятал апельсин в карман плаща и всю дорогу чувствовал его тяжесть и запах.

Кукольник медленно шёл, прикрывая рукою рот от ветра, и думал, что не только в Италии, но и в Петербурге никогда не перестанут рождаться художники. Умер милый волшебник Орест, но живы Брюллов, Иванов и Уткин.

Петербургские дома, выкрашенные в зеленоватый, лимонный и серый цвета, казались фарфоровыми. Свет фонарей дрожал на античных фронтонах домов.

— Великий Рим среди болот и северных лесов! — сказал Кукольник, думая о Петербурге. — Великий Рим в снегах и мраке ночи. Судьба его будет прекрасна.

Эта мысль принесла утешение.

Ни одна газета и ни один журнал не откликнулись на смерть Кипренского. Кукольник недоумевал. Трудно было понять причины молчания, окружившего смерть этого мастера.

Почти через месяц после смерти Кипренского Кукольник напечатал в «Художественной газете» несколько печальных строк.

«Смерть Ореста Кипренского, — писал он, — столь неожиданно лишившая Россию одного из блистательнейших художников, промелькнула в повременных изданиях как тень, наведённая мимолётной тучей, гонимой сильным ветром. Правда, немногие подробности о последних днях Кипренского достигли до северной столицы, — но отчего не раздалось даже обычные газетные элегии над гробом знаменитым? Отчего не отдана последняя дань уважения художнику? Отчего? Решить не можем, но причины обнаружатся».

Причина была проста. Кипренский был не нужен тогдашней николаевской России, как были ей не нужны Федотов и Пушкин, Рылеев и Лермонтов, Гоголь и Иванов.

Кипренский прожил короткую жизнь. Она началась блестяще, но окончилась глупо и печально. Россия сжала его за шею и медленно пригибала к земле, пока не поставила на колени перед знатью, перед царём и Бенкендорфом. И Кипренский-художник сбился с пути и умер гораздо раньше, чем спился и умер Кипренский-человек.

Итальянский апельсин долго лежал у Кукольника на письменном столе. Он придавал особую мягкость воздуху, наполненному запахом старых книг и слабой копотью свечей.

Кукольник берёт его и всё время старался вспомнить слышанный давно, лет пять назад, рассказ Кипренского об апельсине. Потом он всё же вспомнил его и записал, но, как всегда, потерял запись среди множества заметок о живописи и неоконченных стихов.

Помнится, Кипренский рассказывал о своём детстве. Упоминал он о нём неохотно. Оно прошло на мызе под Ораниенбаумом. «Ораниенбаум» по-немецки означает «оранжевое, или апельсиновое, дерево».

Старики, помнившие век Елисаветы, говорили, что название это было дано не зря. При основателе Ораниенбаума Меншикове в теплицах тамошнего дворца вызревали апельсины. Даже на гербе Ораниенбаума было изображено серебряное поле с апельсиновым деревом, усыпанным созревшими плодами.

Старики, помнившие век Елисаветы, были матросы из морской богадельни в Ораниенбауме — первые наставники и учителя мальчика Кипренского. Их звали «сурками». Всё время они проводили в неторопливых беседах и сне.

Чаще всего они рассказывали о морских бурях, налетавших на линейные корабли, грохоте волн и треске снастей. После их рассказов казалось, что вся земля наполнена холодными ураганами, тяжёлым дымом туч, ветрами, дождями и грозами. Старые матросы хвастались бурями, как будто сами их вызывали.

Мрачность их рассказов соответствовала окружающей природе, — белесое небо простиралось над болотистым берегом Финского залива, и томительно проходили тусклые осени и зимы.

Нетерпеливый мальчик — а Кипренский всю жизнь был нетерпелив и горяч — дожидался лета, когда солнце превратит наконец в бледное золото воды залива и зашевелится светлыми стрелами в листве дворцовых садов.

Летом матросы выползали на солнце. Их беззубые рты улыбались шуму деревьев и робкому свисту птиц. Менялись и матросские рассказы. В них среди вечных непогод наступало короткое затишье. Матросы вспоминали Италию, путали названия южных морей. Их память с натугой проникала через вереницу тяжёлых матросских лет, через